

46. КОБРИНСКАЯ ПУЩА

Свое личное будущее мне, как и всем нам, предугадать не дано. А вот о будущем Беловежской пушчи могу сказать с грустью: если еще с десяток лет сохранится потребительское уничтожение природы Беларуси, она повторит судьбу КОБРИНСКОЙ ПУЩИ. Не знаете, читатель, таковой? А я знаю! Она жила-была. Я застал на земле ее дыхание. В Кобринской пушце, примыкающей к Беловежской пушце, я вырос. Расскажу, когда, как, почему и куда ушла Кобринская пушца.

На земле конкурируют два сообщества — лес и человечество. Стоит людям на десяток лет покинуть обжитое место, ранее отвоеванное у леса, — лес возвращается. Он занимает то, что принадлежало ему по первоначальному закону, а ему принадлежала вся суша земная.

Человечество разместилось на могиле леса и за счет леса продолжает расширяться.

В 1929 году мой дед по матери Иван Мифодьев, 1900 года рождения, безземельный, баптист, оставив в деревне Горск жену и четверых детей одного-пяти лет от роду, уехал из Польши (Западной Белоруссии) в Аргентину с целью заработать денег и купить в Горске землю. В пригороде Буэнос-Айреса он пропал без вести примерно в 1949 году, так и не повидав детей, не разбогатев. Его след на аргентинской земле похож на след моего земляка Андрея Прокопчука, годом позже уехавшего в Парагвай. В предыдущих хрониках я познакомил читателя с этим девяностолетним стариком, сейчас послушайте его краткий рассказ о лесе:

“Повезли наших отцов верхом на лошадях показывать лес. Этот девственный тропический лес уже был поделен инженерами на участки. Мой отец выбрал участок в 35 гектаров. На нем была маленькая поляна и речка... Сгрузили багаж на поляне, на нашей земле. Никакой постройки! Поэтому мы сразу же построили шалаш. Первое, что взялись делать, это корчевать лес, чтобы иметь пахотную почву. Через пару дней подходящий кусок выкорчевали. Случайно зашел к нам эмигрант, приехавший в Парагвай два месяца раньше нас. Когда он увидел, что мы корчем лес, то рассмеялся. Он нам объяснил, что все деревья надо срезать, как попало, а после двух месяцев, когда срубленные деревья высохнут, зажечь. Пламя поднимется до небес, все сгорит, только толстые колоды останутся. Пойдет дождь, все потушит — и земля готова для посадки кукурузы...”

Доисторическое подсечно-огневое земледелие широко применялось в Беларуси в средние века. В шестнадцатом веке его подробно описал польский историк Александр Гванини:

«Поля под пашню готовят преимущественно таким образом: летом ... обычно вырубают лес и заросли. Эту вырубку леса по-народному называют ляда. Если лес был густой, то подстилают соломой и в таком положении оставляют на зиму. Когда же наступит ... знойная солнечная погода, то вышеупомянутый повал деревьев поджигают, положив с боков и сверху соломы, и сжигают в пепел. Где же земля была не выжжена, там ничего почти не родится. Поэтому туда собирают несгоревшие деревья и, сложив их в костер, снова поджигают.

На этой выжженной и необработанной земле, после того, как только убраны угли и лишние головни, впервые сеют пшеницу и пахут поверх посева плугом, в который запряжен один конь, и боронуют. И там получается такой непередаваемый словами урожай, что ты подтвердил бы, что сама Церера родилась в тех областях... На полях этого рода обычно сеют в продолжение 6 или 8 лет, не подкладывая навоза и удобрения».

В подсечно-огневом земледелии человек ярко и жарко демонстрирует варварское отношение к лесу, к природе. Феноменально то, что варварство продержалось в Беларуси до девяностых годов двадцатого века. Ему лишь придумали цивилизованное иностранное имя: «Мелиорация». Бульдозер корчевал лес и ссывал в валы. С подсохшими валами расправлялись поджегом либо хоронили их в вырытые котлованы. Я это видел.

До 12 тысячелетия до новой эры вся территория Беларуси являлась лесным заповедником. По той причине, что здесь еще не появился человек. Ну, а потом он пришел сюда из теплых широт, стал жить, лес рубить-жечь, землю ворошить...

Древние писатели отмечали, что наша прародина "весьма лесиста". Николай Гусовский, имея в виду наши пралеса, гордился тем, что "на червонное злато народ наш сокровища эти не разменяет".

Впервые измерили наши сокровища российские власти в 1860 году: лесистость Беларуси составляла тогда 43,5 процента. К 1914 году снизилась до 28,4! В 1950-м стала 24,9. Как видим, по сравнению с первым смертоубийственным для белорусского леса пятидесятилетием (1860-1914 гг.) последующее снижение лесистости незначительное, несмотря на разорительные рубки леса немцами во время первой и второй мировой войн и местным населением — в послевоенные восстановительные периоды.

Знайте, мои современники и земляки: первичный лес Беларуси был сведен российскими колонизаторами во второй половине девятнадцатого и в начале двадцатого веков. Именно Московская метрополия на полную мощность запустила в Беларуси маховик хищнической эксплуатации сырьевых ресурсов. Этот маховик, обслуживаемый местными, вполне суверенными хищниками, вертится по сей день.

Конечно, не нужно забывать, что после второй мировой войны белорусские лесники совершили трудовой и гражданский подвиг, посадив новые леса. Жаль, плохо ухаживают за ними, не берегут, не дают постоять до подлинной товарности, рубят малорослыми и недозрелыми! Но это не их вина: ими управляет все тот же безжалостный и безмозглый маховик неэкологичного хозяйствования.

Совсем недавно, в июле 2002 года, сей маховик обратил на себя внимание Александра Лукашенко. Последовал обоснованный президентский гнев в адрес лесопромышленников, экологов, ученых. Посыпались высокопарные слова в адрес матери-природы. И было приказано немедленно остановить лесокосильный механизм. Знаете, кому было приказано заняться лесом? Совету безопасности, специфическому органу государственного управления, для которого неожиданное президентское поручение -- поистине темный лес.

К 1955 году лесистость Беларуси поднялась до 30,7 процента, в девяностые годы застыла на цифре 34. Этот процент лесистости оптимален для климата, для ведения сельского хозяйства, для лесопромышленного комплекса. Надо бы всем лет двадцать потерпеть, пока лес начнет поспевать, и тогда позволительно будет рубить товарные деревья, их хватит и на внутренние нужды, и на экспорт.

Специалисты лесного дела, может, и потерпели бы, да нейметса властям. Буксует командная экономика, еле движутся инвестиционные ручейки, в казну не притекает валюта. Спасение от всего -- в лесу. Приспевающие деревья чудом сохранились в заповедниках. Значит, рубить! Но в заповедниках нельзя. Переименовать в национальные парки и рубить! Но абсолютно-заповедные зоны по званию своему неприкосновенны и в национальных парках. Лишить звания и срубить!

Так вновь и вновь поддерживается, подкручивается, подмазывается вековой маховик потребительства.

Так падает Беловежская пуца. Ценой своей жизни спасает младших сестер, имена которых менее известны. Помнишь ли, Беларусь, свои пуци? Я не уверен, потому перечислю имена, которые еще сохранились в устной

топонимике да на вчерашних картах. Пущи Беларуси: Ружанская, Шерешевская, Свислочская, Липчанская, Гродненская, Катранская, Налибокская, Графская, Темная, Голубицкая, Кобринская. Это пущи-подростки. Их молодость не обещает будущего.

О Кобринской пуще я узнал от мамы. С юго-западной стороны к Горску впритык раскатилось поле со странным именем На Бору. Деревенский диалог: "Где посадили картошку?" — "На Бору."

Мама рассказала, что на этом месте был лес. Сосны росли в три-четыре обхвата. Мама родилась (1924), когда леса уже не было. Бабушка Ганна (1900) тоже не видела его на этом свете. Лес-легенду видела моя прабабка Ганна, когда в 1890 году пришла из полевой деревни Жичин в Горск замуж за моего прадеда Игната Козловича. Она и сообщила моей маме, что Горск возник в Кобринской пуще на выжженной лесной горе.

Из пущи в деревню выползали ужи, забирались в сараи. Доишь корову, он услышит запах молока, покажется, ждет, пока плеснешь. Сосны в бору стояли такие высокие, что в них каждое лето били молнии. Как стукнет в бору, так хата задрожит...

Когда увезли многовековые сосны, выкорчевали пни, сожгли хворост, распахали землю, тогда Горск в растерянности от необычного ландшафта, в память о веках, соснах, ужах, молниях стал называть поле НА БОРУ. А название Кобринская пуща в народе угасло, я не очень верил, что такая пуща жила-была.

И все-таки она была наяву! Я встретил ее в историческом архиве, в "Указателе шоссейных и проселочных дорог по Гродненской губернии за 1817 год." Чиновник губернатора зафиксировал проселок между деревнями Ригаль (нынче Ригали) и Горск. Сказано, что дорога, пройдя бродом речку Винец, шла далее через КОБРИНСКУЮ ПУЩУ. (Историк Анатолий Бензерук из Жабинки сообщил мне, что название Кобринская пуща впервые задокументировано в 1577 году.)

Теперь проселочная дорога Ригали-Горск, пролетев по мостику выпрямленную речку Винец (переименована в канал), идет через полуживой ольшаник, поднимается на сыпучие Ригалевские горы, поросшие кривой низкой сосной, напоминающей пустынный саксаул. Сорок лет назад я видел здесь последние сосны Кобринской пущи. На лыжах мы прибегали на Ригалевские горы тренировать свою смелость. Для лыжного спуска на крутых склонах были прорублены просеки. Накатаешься до одури, упадешь спиной на снег — увидишь над собой качание сосен, улетишь на небеса.

Дорога Ригали-Горск потеряла значение, так как параллельно, километрах в двух, в середине девятнадцатого века проложено шоссе Москва-Брест-Варшава. Лучшее шоссе тогдашней России стрелой пронизало Кобринскую пуцу и убило ее. Пуцу срезали, увезли по новой дороге. Кобринская пуца сполна разделила судьбу легкодоступного, в отличие от северного и сибирского, белорусского леса, сполна использованного метрополией во второй половине 19 века.

Россия, скальпируя Беларусь, понимала, что творит. 4 апреля 1888 года Государственный совет утвердил "Положение о сбережении лесов." Отмечалось, что леса нужны для "государственной и общественной пользы". Запрещалось сводить леса, содержавшие сыпучие пески, защищавшие селения, дороги, посева от песчаных заносов, леса по берегам рек и крутым склонам. Но было совершено именно то, что запрещалось.

Чтобы уменьшить негативные последствия от сплошных рубок, велись лесопосадки. На связанных почвах они удались, там выросли вторичные леса, вырезанные немцами в 1941-1944 годах.

На полесских песках бывшей Кобринской пуцы средообразующий лес, обеспечивающий стабилизирующее воздействие на биоклимат, водный сток, почвообразовательный процесс, не вырос до сих пор. Разрушение природной среды, начатое царской властью, продолжила власть советская, осушив в древней пуце все болота.

Кобринская пуца распалась на отдельные куски: капризные песчаные поля, черные пересушенные торфяники с белой плешью подстилочного песка, мелиоративные каналы с цепочкой лесополос по берегу, искусственные посадки сосны, голые дюны на буграх, полувековые сосново-березовые леса, самовосстановившиеся там, где не проводились сплошные рубки.

Поле На Бору до 1939 года принадлежало польскому помещику Бабуховскому, затем — моим односельчанам-единоличникам. В 1949-м стало колхозным. Помню на нем картошку, рожь, люпин. Все росло хорошо. В первые годы колхоз копировал то, чем занимались крестьяне, перейдя от подсечного земледелия к цивилизованному. Песчаное поле получало навоз, полю давали год-другой отдохнуть под травой, сеяли и запахивали люпин.

При Хрущеве трава была осмеяна и отброшена как пережиток прошлого, сельское хозяйство перешло на "интенсивную" пропашную систему. На Бору чередовались кукуруза, картофель, сахарная свекла. Беспощадные культуры-эксплуататоры земли.

Поле обессилело, рожало лишь сурепку. К деревне подступало желтое море сорной сурепки. Это было красиво, пока на сурепку не запустят коров. Коровы поле обглаживали, вытаптывали. Тучи пыли неслись на деревню с той стороны, откуда когда-то стлался грибной туман Кобринской пущи.

Будущее — в возвращении в прошлое, в Кобринскую пущу. На Бору посадили сосновый лес. Сейчас ему за тридцать, сомкнулся над головой, можно найти гриб. Но это условный лес. Нет лесного аромата. Сухая, колючая, неприветливая стена, а не живой лес. Стена, отгородившая человека от природы.

На многих участках сосны, пожив лет десять, пожелтели, засохли. Однопородный лес — неестествен. В нем появляются неизлечимые болезни. К сосенке надо подсадить березку. В нашем лесу им хорошо вместе. Если уж растить лес, то по-божески: рядок сосны, рядок березы. А если бы еще рядок дуба! Дуб ты мой пуцанский, ты помнишь свою извечную родину, ты появляешься из средневековья, пытаешься возродиться самостоятельно в пыльной духоте. Больно смотреть на вернувшиеся дубы, кривые, тоненькие, до верхушки покрытые мхом. Дубу не хватает воды. Если дуб трансформируется в лиану, Кобринскую пущу ему не поднять.

В Кобринской пуще соседствовали низины и горы, но птицы сверху их не различали. Птицы видели внизу безбрежный зеленый океан. Он был на моей родине всегда. Понимаете: ВСЕГДА! Над ним летали ящерицы...

Когда океан истек, возле Горска обнажилась высокая лысая гора. Мама в детстве каталась с нее на санках. А я не катался. Гора ... исчезла. Не просто исчезла, а превратилась в яму. Эту яму в деревне называли: Выдьма. От слова "выдуть".

Гора была песчаная, но песчинке ветер снес гору на деревню, после начал выдувать то, что было под горой, — песок. Яков Грищук, живущий рядом с Выдьмой, несколько раз поднимал вокруг усадьбы забор, засыпанный песком, защищался от Выдьмы плотным рядом можжевельника — нет спасу. Вокруг усадьбы — серо-желтые дюны. Они движутся, их путь изображен волнами. Горск погружается в пучину песчаного океана, пришедшего на смену океану зеленому.

Кобринская пуща мстит человеку за поругание над ней — мстит пустыней. Дюны я видел возле деревень Лука, Кошелево, Быки, Новоселки, Шеметовка...

Сплошное сведение леса с одновременным осушением питающих его болот делает невозможным восстановление ЛЕСОПОКРЫТОЙ ПЛОЩАДИ, которая ценнее древесины. Обеднение среды приобретает необратимый

характер. Итог — деградация. Ливанская пустыня. Сахара. Среди ослепительного песка — мой Горск... Я этого представить не могу, как давным-давно арабский мальчик, сидя под шатром кедра на краю бесконечного леса, не мог представить, что этот кедр и этот лес сохранятся лишь на флаге его страны.

Кобринская пуца сливалась с Беловежской пуцей, у них была единая кровеносная система, часть которой ампутировали. В Беловежской пуце за последние полтора столетия первичный лес заменили вторичным (на многих участках замена произошла по два-три раза).

Беловежье — рукотворно, следовательно, лишено устойчивости. В Беловежской пуце мучительно растут искусственные сосняки, где, как на бывшем поле На Бору, повторно занятом лесом, лесом не пахнет. В пуце родились и движутся дюны. Это симптомы Кобринской пуцы. Это наводит на грустный прогноз.

Семь веков Беловежская пуца была игрушкой князьям, королям, генсекам, президентам. Благодаря этому сохранилась лучше, чем другие пуцы Беларуси. А благодаря тому, что сохранилась, попала в хозяйственный оборот корыстной, незрелой, незеленой, неэкологичной власти.

Рубить Беловежскую пуцу — все равно, что сносить египетскую пирамиду, лишая человечество неповторимого памятника. Но пользователи рубят. И не остановятся, пока не превратят ее в Выдму...

Беловежская пуца — наисовершеннейшее чудо света. Потому что самовосстанавливается. Дайте пуце 100 лет передышки, абсолютной заповеданности — получите эталон вечной жизни. Но пуцеубийцы не желают жить вечно. Один раз живем! Прожили без Кобринской, проживем и без Беловежской. Ты же, такой зеленый-зеленый полешук, прапрапраправнук Потапа Козловича, современника Кобринской пуцы, от тоски по ней не умер?

Не умер, но написал стихи.

В детстве я видел последние островки Кобринской пуцы в Каргановом лесу, в Казенном лесу, на Ригалевских и Подкраичских горах. Я разговаривал с пуцей на трех родных языках — полесском, белорусском, русском. Наши взаимоотношения можно передать лишь в стихах. Мои вечнозеленые юношеские стихи — это прощальный глас Кобринской пуцы. Это документальное подтверждение того, что вместе с уходом леса нечто вечное уходит из человеческой души. Не может так быть, чтобы боль леса не отзывалась болью человека и человечества.

СТИХОТВОРНАЯ ХРОНИКА ЛЕСА.

Проста ў вочы мне глянуў
Бязгрэшны бор,
Не адвёў аніводнай галінкі.
Пад выноснымі соснамі
Я замёр —
Бессмяротны, магутны, вялікі...
Ападалі з ігліцы ільдзінкі
На аксамітавы мох.
Бор мне ў вочы глядзеў,
А слязінак
Я, шчаслівы, заўважыць не змог...

Грэбу шыбоду-ігліцу,
Коб обложыты хату.
А лизс пытае:
— Толік, дэ твуй батько?
— Далёко. На цэліне у заробках.
— Ну, то грэбы, дытя,
Хай будэ тэпло у хаты зымою.
А дэ твоя маты?
— Лежыт хворая.
— Грэбы, дытя,
Я нэ буду плакаты,
Як бэз шыбоды замэрзну.

Як травы распласталіся ў алюры,
Як сосны спатыкнуліся ў бары —
Пашорхаюць, пашэпчуцца вятры,
Аціхлыя пасля смяротнай буры.

Ці ёсць гармонія ў прыродзе, ці няма?
О, каб магла яна сама, сама, сама
Алюрам траў рассыпацца й скакаць,
Каб соснам небяспеку прадказаць!

Ігліца сыплецца ў мурог,
І пасвятлелы бор сягоння.
І я блукаю задумённа,
Шукаю выйсця ад трывог.

Не гнуцца сосны, не рыпяць.
Стаяць ўваччу камлём стамлёным.
Ім доўга-доўга гадаваць

Маю вечназялёнасць.

**Послевоенный лес,
Ровесник мой,
Уже немолодой,
Уже над головой
Сомкнулся весь.**

**И деревушку он
Обнял полукольцом,
Чтоб ветер-пустозвон
Ей не слепил лицо,
Сожженное в войне...
Та боль растет во мне –
Венец – венцом,
Венец – венцом...**

**Когда мой край пылал,
Когда серел в золе,
Я семенем лежал
В родной земле,
В тепле.**

**И произрос!
Воскрес корнями в глубину,
В историю,
В ту сторону,
Где в прошлую войну
Людей пожгли и лес.**

**Я слышу: в глубине
Пожар тот не остыл.
Корням моим расти
Чем глубже – тем больней...**

2000